

Вячеслав Верховский

Дар речи Ефима Ярошевского

Издано в Киеве

Ефим Ярошевский

Собрание сочинений. Из записок на салфетках

Киев, Радуга, 2021



Кажется, у этой книги серьезное намерение – остаться со мной навсегда.

По крайней мере у части этой книги. Той, в которой публикуется текст «Собрание сочинений. Из записок на салфетках». Им, запискам, отдано полкниги, вторая ее часть – это «роман(с)».

И о нем – буквально несколько слов. Так же, как все, Ярошевский хотел жить в ногу со временем, но нога – у этого времени – оказалась столь короткой, что время он всегда опережал. Его вел талант. Его «Провинциальный роман(с)», да, опережающий время, впервые был издан в США (потом три тиража на родине, в Одессе) и вызвал фурор. Но сегодня – речь о «Записках», которыми удивить читающий мир, возможно, еще только предстоит.

1.

Моя рецензия на «Записки» Ярошевского, должно быть, побьет все антирекорды. В ней всего три слова. Несмотря ни на что, *эта книга – обезболивающая.*

Все остальное – будут комментарии. И так...

«Из записок на салфетках» – это, по сути, записные книжки: «А сейчас у меня роман. У меня роман с моими записными книжками. Это серьезно. И это надолго. Из них так просто не выбрать-ся. Там закодирована моя жизнь» (стр. 47). Перед нами – дневниковые записи, в которых сюжета как такового нет. Ну дневник же. Но в нем пульсирует жизнь, за которой способен угнаться далеко не всякий ловко скроенный сюжет.

О природе записных книжек. Это жанр особый. В них всегда есть нечто интимное, не предназначенное для других, потаенное, и – тем самым притягательное. Это как знаешь, что заглядывать в чужие окна нехорошо, но эти окна – силы непреодолимой...

«Записные книжки» – например, у Ильфа. Но у Ильи Ильфа они, ставшие знаменитыми только после его смерти, изначально – *для служебного пользования.* Это палитра, где смешиваются слова. Это его стартовый капитал: написанные безоглядно, для себя, они – необходимое подспорье в написании его будущих книг, это его замыслы, наброски, сюжеты, говорящие фамилии и фразы, случаи из жизни, наблюдения, то есть – и тут я употребляю словечко из лексикона Ярошевского – его «творильня». Тогда как записные книжки самого

Ефима Ярошевского – книга уже готовая, сданная читателю под ключ. И в то же время в ней сохранилось то, что должно присутствовать в записных книжках не для посторонних глаз, – повторяю: интимное, потаенное. Заветное. А потому и еще более притягательное.

Сокровенные записки Ярошевского щемяще волнуют: и вклеенный в них великий город, город недосказанного, и живущие в нем, а значит, и на страницах книги, одесситы. Из обрывков их фраз Ярошевский сконструировал дыхание города, и город этими словами дышит, и пытается сам себя досказать...

2.

Ярошевского штудирую с неделю, но его книга разбухает не по-детски: на такое количество закладок она не рассчитана. Как читаю? В общем, хаотично. Как записные книжки и читают. Но где открою – там и приживаюсь. И осознаю: по красивым не обезличенным домам ориентируешься в пространстве, по красивым не обезличенным книгам – во времени.

В книге Ярошевского – время и люди. Да, по Жванецкому, «что-то есть в этой почве», и это – несомненно. Но есть что-то и в этих людях, с необщим выражением души.

Да, в книжном море остров его книги – обитаемый: Толя Гланц, Вадим Чертков, Юрочка Новиков, «гениальный художник Одессы Валик Хрущ», Сева Сендерович, «Шурочка Рихтер», Лёня и Яша Бродские, Гриша Резников, «замечательный наш друг Хаим Токман... Дивная фамилия Гиммельфарб... Некий Суля...» А эти, которых всегда было трое: Боря Дальтоник, Фред Заморочка и Фима Магазинер, где они? Голда, Рива, Моня, Сейвл... «Лёничка Гильбурд» – и целая глава, посвященная его памяти. Читать ее – невыносимо больно.

Что с ним, безответным, случилось? – Ярошевскому не давало покоя всю жизнь. Теперь эту тоску он переложил на наши плечи, и теперь этой страшной неизвестностью мучаемся и мы.

Ленечка – мальчик книжный, тонкий, созерцательный. Не от мира сего. Он, домашний ребенок, единственный: «...с печальными красивыми глазами (как у Левитана) и большой головой на тщедушном теле жил с мамой... Любил читать, что-то всегда мастерил...

Леня часто любил уходить к морю... когда народу вокруг было мало, и там, на скамейке рядом с пляжем, он одиноко читал

какую-нибудь любимую книгу... Часто засиживался до темноты. Однажды он не вернулся». И вот здесь – читатель холодеет. «Обезумевшая мама металась по улицам и кричала: «Лёня, Лёня!..» И мучительный финал этой истории: «Его нашли через три дня на 10-й станции, в воде, почти у берега...» (стр. 139-141). Здесь ничего, кроме жизни. И смерти. Загадочной, страшной и непостижимой.

Сумерки плачевного ухода...

Галерея одесских персонажей. Вот близкий друг, поэт и художник, человек с одесским взглядом на мир Игорь Павлов. С одной стороны – бездомный, без семьи, квартиры и документов, «ночевал где придется... Когда немного (или много) выпьет, мог заснуть где угодно. На траве, на голой земле... Его не будили...». С другой стороны – это глыба. Это легенда Одессы, одна из самых ярких и незаурядных фигур «одесской тусовки» 60-70-х годов, куда входили поэты без публикаций, художники – без выставок, уличные философы – без книг и трактатов...»

Один из одесситов, уезжая из Союза, с собой вывез и любимую кошку. Летели через Вену, и случилось так: она сбежала. Где Вена, где Одесса... Понимаете. Но *осиротевший* на целую кошку он к брату-одесситу вопиет: «Яша, выходи... каждый вечер на прогулку на улицу – и смотри, не прибежала ли наша кошка домой?». А при чем здесь Игорь Павлов? А при том. Комментируя эту историю, он о безутешном земляке: «Я его понимаю. Наш человек. Но очень странный. Значит, тем более – наш».

«Тем более наш» – и он сам, Игорь Иванович Павлов, и читать о нем – захватывающе интересно. По сути, именно Ярошевский – родоначальник апокрифов о Павлове. Так как о собрате по перу написал он, до него никто и никогда. И тем не менее Ефим Ярошевский осторожен. Это не портрет Павлова и не воспоминание о нем. Это – «Попытка портрета, или Попытка воспоминания».

Как по мне, попытка удалась...

О ком бы в этих «Записках» ни говорилось, осознаешь: жизнь нужно прожить так, чтоб о тебе написал Ярошевский. Вот еще один неповторимый персонаж, из «Моих друзей, моих славных современников», Валентин Хрущ. Но современность уходит, занавес падает, и если о друзьях – то только памяти: «Памяти художника Валентина Хруща». Вот, из этой главки – Ярошевский о времени, когда все еще живы:

«Клевое было время, старик!.. участковый не шастал, были дешевые дыни и сыр, рыба сама за пазуху лезла, скумбрия ночевала в сачках... девушки пахли морем...

Люди этот секрет давно потеряли.

И потом, были евреи! С евреями было теплее...»

Чтобы город стал своим, в нем мало родиться. Чтоб к нему прикипеть, нужно найти единомышленников. Так возникает среда.

И еще раз памяти – «Памяти Даниила Марковича Шаца». Ярошевский пишет про Шаца, но эти слова можно отнести и ко всему его близкому кругу.

Для чего они все вместе? «Удовлетворить тоску по общности».

Что их объединяет? «...шарм, обаяние, веселость, оптимизм, юмор, непредсказуемость, свобода. Главным был праздник – праздник общения!» и – «Острое ощущение блаженства».

Веселые изгой, они умели дружить и не умели друг без друга обходиться.

Как и одессит с головой Даня Шац, друзья Ярошевского были азартными и солнечными...

«Собрание сочинений» – гимн великому городу, гимн жизнеутверждающий, но – переходящий в траурный марш. Да, эта книга – плач по Одессе. Которая вроде бы разъехалась по разным странам мира, а на самом деле – разъехалась по швам. И ее уже не сшить. Можно хорохориться, что ничего не случилось. А случилось.

Об эмиграции из Одессы можно написать десятки томов, и будет мало.

А можно и так, как Ярошевский: с евреями – было теплее...

3.

Аннотации полезны не только к книгам.

Если бы перед общением с людьми мы могли прочесть к ним аннотации, кого нам, боже, удалось бы избежать или – никогда не пропустить! У Ярошевского литературные портреты – в нескольких штрихах – не что иное, как аннотации к людям.

Я знал одного писателя, который был страшным человеком. Он записывал свои мысли, совершенно не заботясь о том, кому они могут испортить жизнь. Ярошевский – ни о ком худого слова. Ни о ком! Вот только жаль, что почти все герои его книги,

а точнее, его полукнижия – удручающе смертные и восхитительно бессмертные – «люди, которые из обихода исчезли».

Есть люди, и таких большинство, которые, кроме старости и смерти, за жизнь не наживают ничего. А есть – живые легенды. Живые – даже когда они ушли. Вот, музыка нездешних фамилий, занесенных в Одессу неведомо откуда. Парад планет, одесские светила: «Доктор Нутис... Профессор Энгельштейн... Доктор Спектор, хирург... Доцент Кранцфельд... Невропатолог доктор Гиндентуллер... Д-р Зборовская... Легендарный д-р Циклис...» Колоритные, сгущенно одесские типажи. Люди долга. Какой в них лоск, какое благородство! А написано как – зачитаешься. «Далее, д-р Жванецкий. Да-да, тот самый, папа Михаила Жванецкого, тогда уже совсем старый, медленно, неуклонно и героически идущий на службу. Он работал до последнего». И даже если это не брать близко к сердцу, близко к сердцу – оно подступает само...

Книга-праздник, книга-реквием, в которой – плеяда одесских врачей от Бога, ушедших к Богу вместе со своими пациентами, ибо, как долго ни живи, а ты не вечен. «С этими врачами, – подводит итоги автор, – заканчивалась целая эпоха». Конечно, на их место приходили другие. Но, как любит говаривать один классик, цитируя другого: «Песок – неважная замена овсу».

4.

«Каждый пишет, что он слышит...» Как Ярошевский «слышит, как он дышит»? Его опыты, его «творильня», разбросаны по разным страницам книги. Попробуем собрать их воедино.

Итак, с чего все началось. С того, что поиски счастья привели его безошибочно – к слову: «Первый внятней рассказ – о мальчишке и крысах в ночном доме – был написан где-то в четырнадцать-пятнадцать лет. (Я получил тогда довольно доброжелательную рецензию из «Литературной газеты»)» (стр. 70).

Побудительный мотив его творчества: «...если человека распирает от желания что-то сказать, то как прикажете поступить? Жить, жить – и не крикнуть?..» (стр. 117).

Его писательского кредо: «Если в книге нет чуда *слова*, тогда зачем она? И читать дальше будет глубоко неинтересно...» (стр. 145).

«Единственная высокая радость – дрожь в предчувствии стихотворения» (стр. 18).

Куда уходят корнями его мысли? В детство. В тени предков, Ярошевским не забытых. В его город...

Место рождения Ефима Ярошевского: Одесса. Ее культурный код совпадает с годом ее рождения. Недаром же, набрав четыре цифры – 1794 (год основания Одессы), можно войти практически в любой одесский подъезд. Это – благодарная память. Это город, где в отношении людей напрямую вмешивается небо. Здесь родиться – признак хорошего тона. Я знал одного одессита, который в Одессе прожил всю жизнь, а то, что он родился в Новогородовке, скрывал до последнего.

Как у Ефима Ярошевского рождается мысль? Можно предположить, что так же, как и у жившей в эвакуации в Ташкенте «чуть ли не в соседнем дворе» великой Ахматовой (стр. 38). Которая, по воспоминаниям современников, «жужжала», то есть, вынашивая строку, ходила по комнате и бормотала.

Открывая нам все тайны ремесла, вот так и Ярошевский: он бормочет, «жужжит», проговаривает. Он шаманит...

Он со словом – экспериментирует: «...это уже то набалтывание, когда человек идет вслед скорее за словом, чем за смыслом. Но в итоге... обогащается смысл!» (стр. 161).

Слово рождается, наверно, так же, как происходило рождение мира: методом проб и ошибок.

«Забой. Разбой. Новиков-Прибой. Борис Полевой... коммунизм, герметизм, аневризм...» (стр. 32).

Или: «Приметы времени. Приматы времени. Пыль и боль. Боль и пыль. Билль о правах...» (стр. 34).

Или, скажем, это: «Суд, Сид, сад...» (стр. 35).

Что это? Что – скажете – за бред? Бессвязное бормотание, поверхностное острословие, легкое безумие? Нет! Это идет «интимное общение с языком» (стр. 31).

«Эскулап, эскалоп, скула, скальп, экспансия...» (стр. 52).

Это прелюдия, проба пера, разминка слова, чтоб оно стало податливым, гибким. Чтоб затем буквально по Жванецкому: «Мой папа говорит-говорит, а потом как скажет!» – в результате великого брожения слов – из них у автора возникло долгожданное. Чистое, как слеза. Единственно верное. В единственно правильном месте.

Как рождение мысли видится автору самому (эта главка, кстати – «Я показываю»). Вначале «косым неверным почерком видна сосредоточенная погоня за поступками... Потом буковки выравниваются, виден чистый почерк голодной гончей... напавшей на след... Несколько судорожных метаний, заминок, клякс, сомнений... Несколько пробных (и ложных) бросков в сторону, маленькая паника в уголке листа – и след взят!» (стр. 100).

Зная цену слову, он пишет так плотно, что какое между строк... Но послевкусие! Его тексты, говоря словами Мандельштама, – «ворованный воздух», в них – преобладает «дикое мясо».

Он в Одессе не заблуждается: он знает ей разную цену. Вот о родном городе, загадочном, как изнанка вселенной, – с беспощадной любовью:

«...огромный издыхающий город, изъеденный проказой, моллюсками и мелкой рыбешкой. Висящие на честном слове чердаки и гнилые балконы... Под водой буйно росли огороды; опрокинутые в прошлом году, запутавшиеся в проводах трамваи лежали на боку...

Красивый был город...» (стр. 104).

Не пройти и мимо этого: «Дул ровный, как веревка, ветер. Шел 1980 год. Дул, раздувая жабры, теплый ветер с окраин. Таяло в небе...» (стр. 112).

А чего стоит фраза, от которой становится не по себе: «Одесса оmyвается двумя морями – Черным и Кладбищенским» (стр. 115).

А вот про ночь: «Седает ночь. Океан за окном затаился. Вскрипнул – и ждет отката. Дышит протяжно и мощно под панцирем луны... На Луне движение...» (стр. 46). Хочется читать дальше? Еще как!

Но, выписывая из Ярошевского цитаты, вдруг осознаешь, что переписываешь всю книгу. Она – вся – достойна цитирования. Что и понятно: Ефим Ярошевский пишет так, что в каком бы месте я цитату из него ни оборвал, оборву на самом интересном, например – о лете и дождях:

«Шли в *то лето* питательные дожди. Дача на Дубовой росла, расширялась от ливней, горела.

Прели огороды. Пчелы сосали загноившиеся недра цветов, дурели от сладости, обморочно висели на стеблях. Тлел полдень... Вздыхали бревна во сне, жмурилась солома. Переворачивались,

не выдерживая веса, груженные ливнем облака...» (стр. 26). Такие фразы, «живые как жизнь», можно не комментировать, они сами могут за себя постоять.

И о цитатах напоследок. Есть в книге страницы, где я млею, есть – что растрavляют мою душу. Есть, где мне не по себе, и я их очень быстро пропускаю: я в тех героях узнаю себя...

5.

Однажды я был приглашен поработать в один из журналов, в Одессу. И – высшая степень доверия – мне позволили жить прямо в редакции, в очень старом доме на Базарной. Даже помню номер: дом девятый. Как-то вечером от нечего делать позвонил я другу в Анадолю. Чтоб побахвалиться:

– Привет, я из Одессы. Все в порядке. Живу прямо в редакции журнала. Ем и пью. И прикинь, в фонтане даже сплю.

– В фонтане спишь? Ты просто охренел! А что хоть за журнал?

– Журнал «Фонтан».

По вышеуказанному адресу я ошивался с месяц и, боже, каких людей я видел в том «Фонтане»! Я снова. Голубенко, Губаря. Романа Карцева. Резо Габриадзе... Где они? Время летит так, что кажется: оно уже не летит, а телепортируется. Там же единственный раз я увидел и Ярошевского. Он уже жил в Котбусе (Германия), но в родную Одессу наезжал. Ярошевский выходил из кабинета главного редактора Хаита. Он окинул меня второстепенным взглядом. Невзрачный, я приуныл. Вот и все.

Но я его запомнил. И еще запомнил, как от счастья просто задохнулся, когда открыл его стихи и прочитал. А потом открыл и не стихи. Эта проза... Как бы поточнее объяснить. Вот, как бывает, родная собака, она в тебя уткнется мокрым носом – и ты таешь. И о чем она – уже совсем неважно. Так и здесь.

6.

Одесский пересмешник, Ярошевский великих задирает, он их, не обинуясь, передразнивает. У Мандельштама «Четвертая проза», у Ярошевского «Вторая...». Сквозь само название – «Из записок на салфетках» – проступают булгаковские «Записки на манжетах». А вот переключка со Жванецким, у которого «Надо уметь

уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохо человека...». Ярошевский – тему развивает: «Будьте осторожны с рептилиями. Их всегда больше, чем кажется. Они – везде...». Дальше – Гаспаров. Он и с ним на дружеской ноге. У Ярошевского в одном месте его книги: «стихи и письма, записи, записочки, описи, прописи...», в другом – «Записи, прописи, описи, выписи...». А культовая книга Михаила Гаспарова, выдержавшая несколько изданий, – «Записи и выписки», которые тоже – и вряд ли это совпадение случайно – «сплав дневниковых заметок, воспоминаний и литературно-критических эссе».

Дальше. У Олеши «Книга прощания», но разве «Записки» Ярошевского – не книга прощания? Ну и по форме – это вылитый Зозуля. Помните, у Ильфа? В тех самых, упомянутых ранее «Записных книжках»: «Зозуля пишет рассказы, короткие, как чеки»...

Шутник, пересмешник. Одессит.

7.

Есть люди, и немало, с которыми ночь обходится скверно, награждая мучительной бессонницей. Ефим Ярошевский спал хорошо. Это могло остаться фактом его личной биографии. Если бы не сны. Экзотические, неповторимые. Вещие. Которые стали свершившимся фактом его биографии уже литературной.

Иногда цитаты полезно сталкивать лбами. Вот поэт-песенник Игорь Шаферан (между прочим, тоже одессит): «Присниться – не значит еще ничего!». Ему оппонирует выходящая в «Новом литературном обозрении» и, подчеркну, в серии «Научная библиотека» книга «Советская эпоха в мемуарах, дневниках – а теперь внимание: – снах». Та же эпоха – и в снах Ярошевского. В них вкрадчивая нежность и слезы. Ирония и лукавство. Доброта, всепрощение – и ужасы жизни, в которой остаться человеком не так-то просто. Но выхода нет.

Вот, в самом начале его записок: «...это странная книга... реальность и сны». Это тема его не отпускает, и уже через полсотни страниц: «главное – это все-таки те самые таинственные «творческие сны». И один из них, кажется, апокалиптический, уже в середине его «Записок»: «Потом в комнате пошел снег. Это квартира на Дерибасовской. Снег заносит картины в доро-

гих рамках... Я задеваю случайно одну, снег осыпается, и я вижу, что холст пуст».

А вот уже из стихотворения Ярошевского: «Я корневища слов из десен сна тащил наружу». И, кажется, на эту тему уже лучше не скажешь...

8.

Слова в «Записках» подогнаны друг к другу так ладно, что «трава забвения» – между ними не пробьется. Вот, говорят, благодарная память, но кто сейчас, кроме Ярошевского, о них вспомнит? Не утопая в деталях, он дает их в нескольких штрихах, и «А вот и дирижеры» – оживают: «Одесская филармония. Те, которых я видел. Натан Рахлин! Гений, толстяк... Одиссей Димитриади, его широкий жест и темперамент... и восторг!.. Курт Зандерлинг, Западная Германия... Бешеная энергия и напор. Один день в Одессе...».

9.

«Мои спутники, мои современники». Врачи, учителя, дирижеры, поэты... Прочесывая Одессу своим безотказным неводом вдоль и поперек – вспоминать так вспоминать – он ненароком зачерпнул и их. Городских сумасшедших. И оказывается: жить с безумцами невыносимо, но их парадоксальное мышление, их особый взгляд – картина перевернутого мира, висящего, как летучие мыши, вниз головой... В общем, «когда над городом спускается туман, во мне растет тоска по сумасшедшим...» (стр. 9). И Ярошевский – ее утоляет. Вот он, город, населенный безумцами: безумный Шая (стр. 17), на стр. 42 появляется безумный Яша Шапиро, на стр. 138 возникает безумный Наум. А много раньше, на стр. 28: «Мимо ворот по мостовой... держась друг за друга, два ночных безвредных сумасшедших... Они не братья. Хотя по уму – очень даже. Они всегда вместе. Всегда вдвоем. Их нельзя разделить. «И в этом их сила», – говорит Толя» (Гланц). Все, портрет готов. Его хоть в рамочку.

Кстати, совершенно непонятно, кто есть кто. Сумасшедшие вроде они, а в голове не укладывается у нас.

И в этом – их сила.

10.

Его отношения с Украиной. Во времена потрясений это так важно: «с кем вы, мастера культуры?». «Когда-то Россия так меня мучила! Я слишком любил ее, без ответа... Довольно. Обнимаю весь мир, залитый дождями, обнимаю всю Землю! Но все равно... где-то слева болит, кровоточит Украина, моя любимая страна!» (стр. 37). Украину он любит, но взаимна ли эта любовь? Да, он сгущает краски. Да, у его находок привкус беды, ибо чаще всего приходят те, кому нечего терять. И да, это юмор висельника. Но как написано! Но какой макабрический юмор!

«...вижу на стене – текст гимна Украины... Я читаю этот текст и эти строчки вслух: «Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці...» И мой друг и вполне замечательный поэт и одессит, стоящий рядом, замечает:

– А вот это уже про нас с тобой, Фима...

И я сразу загрустил.

Хотя очень надеялся, что он шутит.

Но он не шутил» (стр. 43).

11.

Те, кто интересуется работами, выдвинутыми на литературную премию Бабеля, – несколько, пожалуй, лучших страниц из «Собрания сочинений» Ярошевского прочесть уже смогли: в прошлом году за цикл рассказов «Одесские сны» Ефим Ярошевский стал лауреатом премии, а сами рассказы тогда же были выложены на «премиальном» сайте. Теперь издана и сама книга. Вместе с теми, лучшими, рассказами. И стихами...

12.

Раньше я, неискушенный, думал так: а проза поэта – это что, стихи в прозе? Раньше – мне было простительно: я не знал творчества Ярошевского.

В «Собрании сочинений», которое не что иное, как проза поэта, – множество стихотворений. Впервые стихи Ярошевского меня прогнали еще десять лет назад, когда я прочел его «Стансы времени».

И вот наступил момент, когда они оказались вещами, ибо «Стансы» из той дальней книги, изданной в 2010-м, завершались так:

Концертная слава при жизни,
Посмертный костюм ледяной...

Смертями последнего времени я переполнен. В меня они уже не вмещаются. То, что все умирают, это-то как раз неувидительно, но чтоб все так сразу, скопом... Будто залпом! «А ты слышал?» «А ты знаешь?!» Всё, приплыли...

И вот честно, даже как-то совестно: боль утраты сразу при-тупляется. Ты начинаешь плакать об одном, умирает следующий, ты теряешься, и человек недооплакан...

Вот *присоединился к большинству* и Ефим Ярошевский. Большой поэт, он ушел 21 марта, в Международный день поэзии. Его «Собрание сочинений» вышло в свет незадолго до его ухода. Еврейское счастье – до своего бессмертия не дожить каких-то несколько дней.

13.

Чтобы поразить своих знакомых-киевлян, я назначаю им встречу у станции метро «Университет», затем везу их по эскалатору вниз к ровесницам динозавров – доисторическим улиткам. Вот они, смотрите! Срезы их раковин – навсегда в мраморе, которым подземный вестибюль облицован. С той же целью, и уже не первый месяц, я привожу знакомых в книгу Ярошевского, к его стрекозе. Изумление и прикосновение к вечности – почти такие же: «Я беру стрекозу за твердое бестрепетное крыло, с трудом отдираю ее от своей головы, смотрю в выпуклые, неземные глаза, в которых ключевой холод; она выгибает горячее длинное тело в пластинках, присасывается к самой себе... Я ее отпускаю, и она, подумав, летит в огорода. В полете я вижу, что у нее голова в скафандре».

14.

Не объять необъятного. Поэтому – что текст книги не доскажет, отчасти договаривают фотографии, помещенные специальным блоком – в центре книги. Они – как фотораздел между ее двумя частями. На старом снимке – его обстоятельные предки. Так вот какой он, вот в кого пошел... А вот он маленький, и вот – его мама...

Среди рисунков, которые там же или рассыпаны по тексту, – и работы самого автора. Он был гордым: в автопортретах себя не жалел. Неприкаянная душа, находящая утешение в слове...

Между текстом и иллюстративным материалом разночтения нет. Это – единое целое: Хрущ, Павлов, снова мама и отец. И все живые.

15.

В Одессе не все как у людей. У людей во всем мире – в полном соответствии с анекдотом про англичан (а на самом деле про евреев): «Англичане уходят, не прощаясь, а евреи – прощаются, но не уходят». А здесь, представьте, попрощались – и ушли. С Одессой всё. Но душа не умирает. Душа Одессы уходит в книги. И одна из них, очень немногих, – «Собрание сочинений. Из записок на салфетках» Ярошевского.

Тают зеркала в пустыне комнат,
Время движется к весне...
Кто нас помнит? Нас никто уже не помнит,
Дикий снег заносит нас во сне...

Киев

